

Ф Р И Д Р И Х Н И Ц Ш Е

самые лучшие произведения самого незаурядного философа всех времен

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ,
СЛИШКОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ



Москва

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)
Н70

Ницше, Фридрих Вильгельм.

Н70 Человеческое, слишком человеческое : [перевод с немецкого] / Фридрих Ницше. — Москва : Эксмо, 2026. — 352 с. — (Фридрих Ницше).

ISBN 978-5-699-86991-6

«Человеческое, слишком человеческое» — произведение, важное с точки зрения развития творчества Ницше. В нем он переосмысливает значение своих идеалов и отказывается от них, разочаровывается в трудах своих кумиров. Ницше ищет свободу и освобождение от прописных истин и постепенно приходит к тем неординарным и эксцентричным мыслям, по которым мы его знаем в произведениях «Так говорил Заратустра» и «По ту сторону добра и зла».

УДК 1(091)(430)
ББК 87.3(4Гем)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: О ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ВЕЩАХ.....	15
ОТДЕЛ ВТОРОЙ: К ИСТОРИИ МОРАЛЬНЫХ ЧУВСТВ.....	49
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ: РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ.....	99
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: ИЗ ДУШИ ХУДОЖНИКОВ И ПИСАТЕЛЕЙ.....	134
ОТДЕЛ ПЯТЫЙ: ПРИЗНАКИ ВЫСШЕЙ И НИЗШЕЙ КУЛЬТУРЫ.....	181
ОТДЕЛ ШЕСТОЙ: ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕНИИ.....	232
ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ: ЖЕНЩИНА И ДИТЯ.....	256
ОТДЕЛ ВОСЬМОЙ: ВЗГЛЯД НА ГОСУДАРСТВО.....	275
ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ: ЧЕЛОВЕК НАЕДИНЕ С СОБОЙ.....	307
СРЕДИ ДРУЗЕЙ ЭПИЛОГ.....	351

ПРЕДИСЛОВИЕ

— 1 —

Довольно часто и всегда с большим удивлением мне говорили, что есть что-то общее и отличительное во всех моих произведениях. Начиная с «Рождения трагедии» вплоть до недавно опубликованного «Пролога к философии будущего»: все они содержат — говорили мне — западни и сети для неосторожных птиц и едва ли не постоянный незаметный призыв к перевороту всех привычных оценок и ценных привычек. *Как? Все* это только — человеческое, слишком человеческое? К этому вздоху приводит чтение моих произведений; читатель испытывает некоторого рода пугливость и недоверие даже к морали, более того, его немало искушает и поощряет к защите худших вещей мысль: а что, если это — только наилучшим образом оклеветанные вещи? Мои произведения называли школой подозрения, еще более — школой презрения, к счастью, также школой мужества и даже дерзости. И действительно, я и сам не думаю, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и — выражаясь богословски — в качестве врага и допросчика Бога; и кто угадывает хоть что-нибудь из последствий всякого глубокого подозрения — из озноба и тревог одиночества, на которые осуждает всякая безусловная различность взора, — тот поймет также, как часто, чтобы отдохнуть от себя и как

бы временно забыть себя, я тщился приютиться где-либо — в какой-либо почтительности, или вражде, или научности, или шаловливости, или глупости, а также почему, когда я не находил того, что мне было *нужно*, мне приходилось искусственно овладевать им, подделывать и сочинять себе это (и разве поэты делали когда-либо что другое? и для чего же и существует все искусство на свете?). Но что мне было всегда нужнее всего для моего лечения и самовосстановления, так это вера, что я *не* одинок в этом смысле, что мой *взор* не одинок, — волшебное чаяние родства и равенства во взоре и вожделении, доверчивый покой дружбы, слепота вдвоем, без подозрений и знаков вопроса, наслаждение внешностью, поверхностью, близким и ближайшим — всем, что имеет цвет, кожу и видимость. Может быть, в этом отношении меня можно уличить в кое-каком «искусстве» и признать тонким фальшивомонетчиком; уличить, например, в том, что я намеренно-умышленно закрывал глаза на шопенгауэровскую слепую волю к морали в ту пору, когда я уже ясно различал в делах морали, а также что я обманывал себя насчет неизлечимого романтизма Рихарда Вагнера, как если бы он был началом, а не концом; а также насчет греков, а также насчет немцев и их будущности — и, может быть, наберется еще целый длинный список этих «также»? — Но допустим, что все это так, что во всем этом можно с полным основанием уличить меня; что же *вы* знаете, что *можете* вы знать о том, сколько хитрости самосохранения, сколько разума и высшей предосторожности содержится в таком самообмане — и сколько лживости мне еще *нужно*, чтобы я мог всегда сызнова позволять себе роскошь *моей* правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она *ищет* заблуждения, она *живет* заблуждением... но не правда ли?

я опять уже принялся за свое, начал делать то, что делаю всегда, — я, старый имморалист и птицелов, — говорить безнравственно, вненравственно, «по ту сторону добра и зла»?

— 2 —

Так, однажды, когда мне это было нужно, я *изобрел* для себя и «свободные умы», которым посвящена эта меланхолично-смелая книга под названием «Человеческое, слишком человеческое»; таких «свободных умов» нет и не было — но, повторяю, общение с ними было мне нужно тогда, чтобы сохранить хорошее настроение среди худого устройства (болезни, одиночества, чужбины, *acedia*, бездеятельности); они были мне нужны, как бравые товарищи и призраки, с которыми болтаешь и смеешься, когда есть охота болтать и смеяться, и которых посылаешь к черту, когда они становятся скучными, — как возмещение недостающих друзей. Что такие свободные умы *могли бы* существовать, что наша Европа *будет* иметь среди своих сыновей завтрашнего и послезавтрашнего дня таких веселых и дерзких ребят во плоти и осязательно, а не, как в моем случае, в качестве схем и отшельнической игры в тени — в этом я менее всего хотел бы сомневаться. Я уже вижу, как они *идут*, медленно-медленно; и, может быть, я содействую ускорению их прихода, описывая наперед, в чем я *вижу* условия и пути их прихода?

— 3 —

Можно предположить, что душа, в которой некогда должен совершенно созреть и налиться сладостью тип «свободного ума», испытала, как решающее событие своей жизни, *великий разрыв* и что до этого она была тем более связанной душой и казалась навсегда прикованной к своему углу и столбу. Что

вяжет крепче всего? Какие пути почти неразрывны? У людей высокой и избранной породы то будут обязанности — благоговение, которое присуще юности, робость и нежность ко всему издревле почитаемому и достойному, благодарность почве, из которой они выросли, руке, которая вела, святилищу, в котором они научились поклоняться; их высшие мгновения будут сами крепче всего связывать и дольше всего обязывать их. Великий разрыв приходит для таких связанных людей внезапно, как подземный толчок: юная душа сразу сотрясается, отрывается, вырывается — она сама не понимает, что с ней происходит. Ее влечет и гонит что-то, точно приказание; в ней просыпается желание и стремление уйти, все равно куда, во что бы то ни стало; горячее опасное любопытство по неоткрытому миру пламенеет и пылает во всех ее чувствах. «Лучше умереть, чем жить *здесь*» — так звучит повелительный голос и соблазн; и это «здесь», это «дома» есть все, что она любила доселе! Внезапный ужас и подозрение против того, что она любила, молния презрения к тому, что звалось ее «обязанностью», бунтующий, произвольный, вулканически пробивающийся порыв к странствию, чужбине, отчуждению, охлаждению, отрезвлению, оледенению, ненависть к любви, быть может, святотатственный выпад и взгляд *назад*, туда, где она доселе поклонялась и любила, быть может, пыл стыда перед тем, что она только что делала, и вместе с тем восторженная радость, что *она* это делала, упоенное внутреннее радостное содрогание, в котором сказывается победа — победа? над чем? над кем? Загадочная, чреватая вопросами и возбуждающая вопросы победа, но все же *первая* победа — такие опасности и боли принадлежат к истории великого разрыва. Это есть вместе с тем болезнь, которая может разрушить человека, — этот первый взрыв силы и воли

к самоопределению, самоустановлению ценностей, эта воля к *свободной* воле; и какая печать болезненности лежит на диких попытках и странностях, посредством которых освобожденный, развязавшийся стремится теперь доказать себе свою власть над вещами! Он блуждает, полный жестокости и неудовлетворенных вожеланий; все, чем он овладевает, должно нести возмездие за опасное напряжение его гордости; он разрывает все, что возбуждает его. Со злобным смехом он опрокидывает все, что находит скрытым, защищенным какой-либо стыдливостью; он хочет испытать, каковы все эти вещи, *если* их опрокинуть. Из произвола и любви к произволу он, быть может, дарует теперь свою благосклонность тому, что прежде стояло на плохом счету, — и с любопытством и желанием испытывать проникает к самому запретному. В глубине его блуждений и исканий — ибо он бредет беспокойно и бесцельно, как в пустыне, — стоит знак вопроса, ставимый все более опасным любопытством. «Нельзя ли перевернуть *все* ценности? И, может быть, добро есть зло? А Бог — выдумка и ухищрение дьявола? И, может быть, в последней своей основе все ложно? И если мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и обманщики? И не *должны* ли мы быть обманщиками?» — такие мысли отвращают и совращают его все дальше и дальше в сторону. Одиночество окружает и оцепляет его, становится все грознее, удушливей, томительней, эта ужасная богиня и *mater saeva cupiudinum* — но кто еще знает нынче, что такое *одиночество*?..

— 4 —

От этой болезненной уединенности, из пустыни таких годов испытания еще далек путь до той огромной, бьющей через край уверенности, до того

здоровья, которое не может обойтись даже без болезни как средства и уловляющего крючка для познания, — до той *зрелой* свободы духа, которая в одинаковой мере есть и самообладание, и дисциплина сердца и открывает пути ко многим и разнородным мировоззрениям, — до той внутренней просторности и избалованности чрезмерным богатством, которая исключает опасность, что душа может потерять самое себя на своих собственных путях или влюбиться в них и в опьянении останется сидеть в каком-нибудь уголку, — до того избытка пластических, исцеляющих, восстанавливающих и воспроизводящих сил, который именно и есть показатель *великого здоровья*, — до того избытка, который дает свободному уму опасную привилегию жить *риском* и иметь возможность отдаваться авантюрам — привилегию истинного мастерства, признак свободного ума! Посередине, быть может, лежат долгие годы выздоровления, годы, полные многоцветных, болезненно-волшебных изменений, руководимые упорной *волей к здоровью*, которая уже часто отваживается рядиться и играть роль настоящего здоровья. Среди этого развития встречается промежуточное состояние, о котором человек, испытавший такую судьбу, позднее не может вспомнить без трогательного чувства: счастье окружает его, подобно бледному, тонкому солнечному свету, он обладает свободой птицы, горизонтом и дерзновением птицы, чем-то третьим, в чем любопытство смешано с нежным презрением. «Свободный ум» — это холодное слово дает радость в таком состоянии, оно почти греет. Живешь уже вне оков любви и ненависти, вне «да» и «нет», добровольно близким и добровольно далеким, охотнее всего ускользая, убегая, отлетая, улетая снова прочь, снова вверх; чувствуешь себя избалованным, подобно всякому, кто видел *под собой*

огромное множество вещей, — и становишься антиподом тех, кто заботится о вещах, которые его не касаются. И действительно, свободного ума касаются теперь вещи, — и как много вещей! — которые его уже *не заботят...*

— 5 —

Еще шаг далее в выздоровлении — и свободный ум снова приближается к жизни, правда, медленно, почти против воли, почти с недоверием. Вокруг него снова становится теплее, как бы желтее; чувство и сочувствие получают глубину, теплые ветры всякого рода обвевают его. Он чувствует себя так, как будто теперь у него впервые открылись глаза для *близкого*. В изумлении он останавливается: где же он *был* доселе? Эти близкие и ближайшие вещи — какими преображенными кажутся они ему теперь! Какую пушистость, какой волшебный вид они приобрели с тех пор! Благодарный, он оглядывается назад, — благодарный своим странствиям, своей твердостью и самоотчуждению, своей дальнорукости и своим птичьим полетам в холодные высоты. Как хорошо, что он не оставался, подобно изнеженному темному празднолюбцу, всегда «дома», «у себя»! Он был *вне* себя — в этом нет сомнения. Теперь лишь видит он самого себя, — и какие неожиданности он тут встречает! Какие неизведанные содрогания! Какое счастье даже в усталости, в старой болезни и ее возвратных припадках у выздоравливающего! Как приятно ему спокойно страдать, пряхсть нить терпения, лежать на солнце! Кто умеет, подобно ему, находить счастье зимой, наслаждаться солнечными пятнами на стене! Эти наполовину возвращенные к жизни выздоравливающие, эти ящерицы — самые благодарные животные в мире: некоторые среди них не пропускают ни одного дня без маленькой хвалебной

песни. Серьезно говоря, самое основательное *лечение* всякого пессимизма (как известно, неизлечимого недуга старых идеалистов и лгунов) — это заболеть на манер таких свободных умов, долго оставаться больным и затем еще медленнее возвращаться к здоровью — я хочу сказать — становиться «здоровее». Мудрость, глубокая жизненная мудрость содержится в том, чтобы долгое время прописывать себе даже само здоровье в небольших дозах.

— 6 —

И в эту пору, среди внезапных проблесков еще необузданного, еще изменчивого здоровья, свободному, все более освобождающемуся уму начинает наконец уясняться та загадка великого разрыва, которая доселе в темном, таинственном и почти неприкосновенном виде лежала в его памяти. Если он долго почти не решался спрашивать: «Отчего я так удалился от всех? Отчего я так одинок? Отчего я отрекся от всего, что почитаю, — отрекся даже от самого почитания? Откуда эта жестокость, эта подозрительность, эта ненависть к собственным добродетелям?» — то теперь он осмеливается громко спрашивать об этом и уже слышит нечто подобное ответу: «Ты должен был стать господином над собой, господином и над собственными добродетелями. Прежде *они* были твоими господами; но они могут быть только твоими орудиями наряду с другими орудиями. Ты должен был приобрести власть над своими “за” и “против” и научиться выдвигать и снова прятать их, смотря по твоей высшей цели. Ты должен был научиться понимать начало перспективы во всякой оценке — отклонение, искажение, и кажущуюся телеологию горизонтов, и все, что относится к перспективе, и даже частицу глупости в отношении к противоположным ценностям,

и весь интеллектуальный ущерб, которым приходится расплачиваться за каждое “за” и каждое “против”. Ты должен был научиться понимать *необходимую* несправедливость в каждом “за” и “против”, несправедливость, неотрешимую от жизни, *обусловленность* самой жизни началом перспективы и его несправедливостью. Ты должен был прежде всего воочию видеть, где несправедливости больше всего: именно там, где жизнь развита меньше, мельче, беднее всего, где она всего более первобытна и все же вынуждена считать *себя* целью и мерой вещей и в угоду своему сохранению исподтишка, мелочно и неустанно подрывать и расшатывать все высшее, более великое и богатое, — ты должен был воочию увидеть проблему *иерархии* и как сила, и право, и широта перспективы одновременно растут вверх. Ты должен был...» — довольно, свободный ум *знает* отныне, какому «ты должен» он повиновался, и знает также, на что он теперь способен и что ему теперь — *позволено*...

— 7 —

Такого рода ответ дает себе свободный ум в отношении загадки разрыва и кончает тем, что, обобщая свой случай, он объясняет себе пережитое. «Что случилось со мной, — говорит он себе, — то должно случиться со всяким, в ком воплощается и “хочет явиться на свет” *задача*». Тайная сила и необходимость этой задачи будет властвовать над его судьбой и ее частными событиями, подобно неосознанной беременности, — задолго до того, как он уяснит самое эту задачу и узнает ее имя. Наше назначение распоряжается нами, даже когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем. Допустив, что именно *проблему иерархии* мы, свободные умы, можем назвать *нашей* проблемой, лишь

теперь, в полдень нашей жизни, мы понимаем, в каких приготовлениях, обходных путях, испытаниях, искушениях, переодеваниях нуждалась эта проблема, прежде чем она *могла* встать перед нами, и что мы сначала должны были испытать душой и телом самые разнообразные и противоречивые бедствия и радости в качестве искателей приключений и путешественников вокруг того внутреннего мира, который зовется «человеком», в качестве измерителей каждого «выше», каждого «сверх иного», которое тоже зовется «человеком», — проникая повсюду почти без страха, не пренебрегая ничем, не теряя ничего, пробуя все, очищая и как бы отсеивая все случайное, — пока мы, свободные умы, не можем наконец сказать: «Здесь лежит *новая* проблема! Здесь длинная лестница, на ступенях которой мы сами сидели и по которой мы поднимались, — какими мы некогда сами *были*. Здесь есть высота и глубина, есть мир под нами, есть огромный длинный порядок и иерархия, которую мы *видим*; здесь — *наша* проблема!»

— 8 —

Ни одному психологу и толкователю знаков ни на мгновение не останется скрытым, к какому месту только что описанного развития принадлежит (или *отнесена*) предлагаемая книга. Но где есть теперь еще психологи? Наверное, во Франции; быть может, в России; но во всяком случае не в Германии. Нет недостатка в основаниях, по которым современные немцы могли бы даже хвастаться этим — довольно скверно для человека, который в этом отношении по природе и воспитанию не похож на немца! Эта *немецкая* книга, которая сумела найти себе читателей в широком круге стран и народов — она странствует уже около десяти лет — и которая, очевидно, не лишена какой-то музыки и звуков флейты,

с помощью коих можно склонить к вниманию даже тугие уши иностранцев, — эта книга именно в Германии читалась небрежнее всего, и ее хуже всего слушали; чем это объясняется? — «Она требует слишком многого, — отвечали мне, — она обращается к людям, не угнетенным грубыми обязанностями, она ищет тонких и избалованных ощущений, она нуждается в избытке времени, в избытке светлого неба и сердца, в избытке otium в самом дерзком смысле; но всех этих хороших вещей мы, нынешние немцы, не имеем, а следовательно, не можем и давать». — После столь милого ответа моя философия советует мне умолкнуть и не спрашивать далее; тем более что в некоторых случаях, как на то намекает поговорка, можно *остаться* философом только благодаря тому, что — молчишь.

Ницца, весна 1886 г.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: О ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ВЕЩАХ

— 1 —

Химия понятий и чувств. Философские проблемы принимают теперь опять почти во всех областях ту же форму, какую они имели две тысячи лет назад: как может что-либо возникнуть из своей противоположности, например разумное из неразумного, ощущающее из мертвого, логика из нелогического, бескорыстное созерцание из вожделеющего хотения, жизнь для других из эгоизма, истина из заблуждений? Метафизическая философия одолевала доселе эту трудность тем, что отрицала возникновение одного из другого и в отношении более высоко ценимых вещей принимала чудесное происхождение непосредственно из ядра и существа «вещи в себе». Напротив, историческая философия, которую вообще нельзя уже мыслить отдельно от естествознания и которая есть самый новый из всех философских методов, установила в отдельных случаях (и, вероятно, к такому результату она придет во всех случаях), что это вообще не противоположности — разве только в обычном преувеличении популярного или метафизического понимания — и что в основе этого противопоставления лежит заблуждение разума; согласно ее объяснению, не существует, строго говоря, ни неэгоистического поведения, ни совершенно